

В. Е. ВЕТЛОВСКАЯ

Символика чисел в «Братьях Карамазовых»

Символ — один из видов иносказания. Он возникает тогда, когда отдельное слово или слова выражают смысл, обычно им не свойственный. В символе имеются два плана, два ряда представлений, так или иначе соотношенных друг с другом. Принято видеть символическое иносказание там, где второй план (план подразумеваемого) выражает сферу отвлеченных понятий, идей, имеющих глубокое и важное значение.

С древнейших времен (и особенно со времен пифагорейцев) существует представление об особом значении чисел, существует и огромная литература об этом. Но такая символика нас в данном случае не интересует. В художественном произведении иносказание создается контекстом. Контекст и указывает на второй, идийный план слова или слов и устанавливает с большей или меньшей четкостью содержательное значение этого второго плана. Символическое значение чисел ничем не отличается от символического значения других компонентов художественного произведения: отдельных слов, сцен, этапов действия и т. д. Из этого сообщения мы и исходим.

Зыбкость содержательного значения символа в индивидуальных (не народных) художественных произведениях, в частности — тех символов, о которых здесь пойдет речь, не позволяет говорить о втором плане иносказания с абсолютной твердостью и допускает ряд гипотетических суждений. В качестве данного мы берем, с одной стороны, некоторые числа, появляющиеся в романе «Братья Карамазовы», а с другой — идейно-тематическую и отчасти формальную основу этого произведения в целом.

Прежде всего следует сказать, что символика в «Братьях Карамазовых» выражается не только в особом значении некоторых чисел. Символика чисел только часть в однородном ряду явлений, может быть, наименее существенном для поэтической системы этого романа, но в то же время достаточно для нее характерном.

Среди разных чисел, упоминаемых в «Братьях Карамазовых», обращает на себя внимание постоянно повторяющееся число три. Первая фраза первой главы звучит так: «Алексей Федорович Карамазов был *гребным* сыном помещика нашего уезда Федора Павловича Карамазова» (9, 11).¹ Дальше: «Он был женат два раза, и у него было *три* сына — старший, Дмитрий Федорович, от первой супруги, а остальные два, Иван и Алексей, от второй» (9, 12). «Пока он докучал всем своими

¹ Все ссылки на роман «Братья Карамазовы» даются по изданию: Ф. М. Достоевский, Собр. соч. в десяти томах, тт. 9, 10, ГИХЛ, М., 1958. Первая цифра — том, вторая — страница. Курсив везде наш.

слезами и жалобами, а дом свой обратил в развратный вертеп, *трехлетнего* мальчика Митю взял на свое попечение верный слуга этого дома Григорий» (9, 15). «Во-первых, этот Дмитрий Федорович был один только из *трех* сыновей Федора Павловича, который рос в убеждении...» (9, 17). «Родила она... Федору Павловичу двух сыновей, Ивана и Алексея, первого в первый год брака, а второго *три* года спустя» (9, 20). «Ровно *три* месяца по смерти Софьи Ивановны генеральша вдруг явилась в наш город лично» (9, 20). «Воротился он снова в наш городок окончательно всего только года за *три* до приезда Алеси» (9, 31). Обычно читаем: «*три* дня тому назад» (9, 61); «*третьего* дня» (9, 107); «*три* дня спустя» (9, 148); «*три* месяца лишь спустя» (9, 147); «недели *три*» (9, 148); «недели *три* тому назад» (9, 184); «недели *чрез три*» (9, 207); «*три* дороги» (9, 195) и т. д.

Число «три» возникает в самых разных ситуациях, звучит в устах самых разных героев. «Когда и кем насадились оно (старчество, — В. В.) и в нашем подгородном монастыре, не могу сказать, но в нем уже считалось *третье* преемничество старцев, и старец Зосима был из них последним» (9, 37—38). «Дмитрий Федорович! — завопил вдруг каким-то не своим голосом Федор Павлович, — если бы только вы не мой сын, то я... вызвал бы вас на дуэль... на пистолетах, на расстоянии *трех* шагов» (9, 95) Или: «Ну вот эти *три* сладострастника друг за другом теперь и следят... Состукинулись *тоос* лбами, а ты, пожалуй, *четвертый*» (9, 103). Иногда встречается «два—три», очень часто «три—четыре», «два или три раза» (9, 177); «две или три» (9, 183); «года *три—четыре*» (9, 31); «*третий* аль *четвертый*» (9, 154); «*трос* или *четыре*» (9, 223). Подобные примеры можно было бы в значительной степени умножить. те, которые приведены здесь, взяты из начальных глав романа.

Число «три» повторяется слишком часто, чтобы это повторение могло быть случайным. Есть страницы, где такое повторение становится навязчивым, и потому поневоле привлекает к себе внимание. Например, старец говорит с одной из «верующих баб»: «О чем плачешь-то? — Сыночка жаль, батюшка, *трехлеточек* был. без *трех* только месяцев и *три* бы годика... Четверо было у нас... *Трех* первых схоронила... Вот уж *третий* месяц из дому» (9, 63—64). С другой бабой: «Вдового я, *третий* год, — начала она полупшепотом, сама как бы вздрагивая... Она кончила скоро. — *Третий* год? — спросил старец. — *Третий* год. Сперва не думала, а теперь хворать начала» (9, 67). «Он перекрестил ее *три* раза» (9, 68).

Не менее важны, чем эти приведенные и разнообразные повторы числа «три», такие повторы, которые либо необходимо возвращаются по ходу действия, будучи так или иначе с ним связаны, либо выделены и подчеркнуты композиционно: три тысячи берет Митя у Катерины Ивановны; три тысячи, по крайней мере, он хотел бы получить от отца; три тысячи Федор Павлович припрятывает для Грушеньки. Впоследствии три тысячи Алеша, Катерина Ивановна и Иван платят адвокату. В одной из первых глав романа число «три» вынесено в заглавие: «*Третий* сын Алеша». Характерны и другие, бросающиеся в глаза утробения: три главы об исповеди Мити («Исповедь горячего сердца. В стихах»: «Исповедь горячего сердца. В анекдотах»; «Исповедь горячего сердца. „Вверх пятами“»); три главы о надрывах («Надрыв в гостиной»; «Надрыв в избе»; «И на чистом воздухе»); три главы о встречах и попытках Мити достать деньги, чтобы вернуть свой долг Катерине Ивановне («Кузьма Самсонов», «Лягавый», «Золотые приски»); три главы о мытарствах («Хождение души по мытарствам. Мытарство первое»; «Мытарство второе»; «Третье мытарство»); три главы о встречах Ивана со Смердяко-

вым («Первое свидание со Смердяковым»; «Второй визит к Смердякову»; «Третье, и последнее, свидание со Смердяковым»). Заметим также, что каждая часть романа состоит из трех книг, а эпилог к роману — из трех глав. Действие же, которое организует произведение в единое целое, развивается на протяжении трех дней до «катастрофы» и затем трех дней, с небольшими временными промежутками, — после нее. Намеренное, а не случайное использование числа «три» очевидно. Что же это авторское намерение означает?

Число «три», вообще троичность, напоминает читателю о фольклоре. В фольклорных произведениях это число тоже не является единственным, но оно чрезвычайно для них характерно.

В черновиках к «Подростку» читаем: «Лиза, как сказочная царевна, задает ему (подростку, — В. В.) задачи. Он их исполняет».²

Черновики «Братьев Карамазовых» гораздо менее, чем «Подростка», отражают начальную и самую интересную стадию работы над романом. Замечания о сказке, подобные приведенному, были бы для нас безусловно ценны, но мы таких не знаем. Может быть, правда, некоторой аналогией к этому замечанию в окончательном тексте «Братьев Карамазовых» служат слова Мити о себе и Алеше: «О боги! Благодарю вас, что направили его по задам и он попался ко мне, как золотая рыбка старому дурню рыбаку в сказке» (9, 135).

Как бы то ни было, известно, что последние произведения Достоевского тесно связаны друг с другом. То, что не вмещалось в один роман, находило свое выражение в следующем (так, некоторые соображения, записанные Достоевским в связи с «Подростком», воплотились только в «Братьях Карамазовых»). Многие идеи, темы, удачные обороты речи просто повторялись. Но даже не это важно, а важен самый факт, что мысль о сказочной основе или сказочных элементах очень сложного и вполне актуального повествования вообще не была чужда Достоевскому.

Не только три задачи, но и три дороги, три встречи, три сына (брата) обычны в сказке. «Он был женат два раза, и у него было три сына». «У него (у нее, у них) было три сына» — распространенное начало сказочного рассказа. Обратим внимание на это обстоятельство. В «Братьях Карамазовых» речь идет о трех сыновьях и братьях: Митя, Иван, Алеша занимают основное место в повествовании. Каковы же отношения между ними?

Митя по возрасту старший, но в идейном плане он размещается между Иваном и Алешей, так как Иван и Алеша — полюсы. «... один брат — атеист. Отчаяние, — записывает Достоевский. — Другой — весь фанатик. Третий — будущее поколение, живая сила, новые люди».³ Характеристика будущих героев последнего романа здесь дается с точки зрения их идейной позиции. Один (впоследствии — Иван) — атеист, другой (Алеша) — верующий. Третий (Митя), в отличие от своих братьев, лишен идейной установки, и не случайно. Ничего третьего между верой и неверием нет, и Мите («живой силе, новым людям») предоставляется лишь право выбора одного пути из двух возможных. В этом смысле высказывается в «Братьях Карамазовых» и прокурор: «В противоположность „европеизму“ и „народным началам“ братьев своих, он (Митя, — В. В.) как бы изображает собою Россию непосредственную» (10, 241).

² Ф. М. Достоевский в работе над романом «Подросток». Творческие рукописи. — Литературное наследство, т. 77. М., 1965, стр. 83.

³ Там же, стр. 69.

Если пользоваться теми синонимическими соответствиями, которые диктует роман, то «европеизм» Ивана есть прежде всего атеизм и «идеал содомский» (наиболее ярко выражен в «Великом инквизиторе»); «народные начала» Алеши — всра и «идеал мадонны», а Мите («непосредственной» России) остается выбрать между ними.⁴ В идейном отношении Митя, самый «живой» и «непосредственный» из трех братьев, занимает центральное положение. Таково его положение и в композиции известной нам части романа. Митя, в сущности, есть брат средний.

Очевидное желание свести полюсы к максимальной близости заставило Достоевского сделать Ивана и Алешу единоутробными братьями. Стремление наделить выбор Мити авторитетом объективности побудило автора подчеркнуть отделить этого героя от двух других сыновей Федора Павловича. Но вторая цель (поставить Митю между ними), казалось бы, не совместимая с первой, здесь тоже достигается.

Это происходит благодаря «странным», но очень характерным оговоркам, которые делают герои этого романа, говоря о братьях Карамазовых. Так, слово «старший» в последней книге связывается не с Митей, а с Иваном. Григорий в своих показаниях свидетельствует, что «малый (Смердяков, — В. В.) был со способностью, да глуп и болезнью угнетен, а нуще безбожник и что его безбожеству Федор Павлович и старший сын учили» (10, 198). Речь идет об Иване, а не о Мите. Затем говорит прокурор: «Но старший брат подсудимого (об Иване, — В. В.) объявил свое подозрение только сегодня, в болезни, в припадке бесспорного умоисступления и горячки» (10, 252). «Он, — говорит рассказчик, передавая слова прокурора, — представил его (Смердякова, — В. В.) человеком слабоумным, с зачатком некоторого смутного образования, сбитого с толку... и испугавшегося иных современных учений... широко преподанных ему практически — бесшабашною жизнью покойного его барина, а может быть, и отца, Федора Павловича, а теоретически — разными странными философскими разговорами с старшим сыном барина. Иваном Федоровичем» (10, 252—253). «Когда старший сын Федора Павловича, Иван Федорович, перед самою катастрофой уезжал в Москву» и т. д. (10, 254).

Итак, Иван — «старший сын» и «старший брат» из трех братьев Карамазовых. Само по себе это обстоятельство еще ничего не означает. Но оно становится важным, если учесть, что Иван не только «старший», но и «умный» брат. О необыкновенном уме Ивана, образованности и учености его читатель узнает с первых слов об этом герое. В дальнейшем повествовании ум Ивана обнаруживается настолько, что у читателя не может возникнуть никаких сомнений на этот счет.

Об Алеше же (младшем) говорят разное, но среди прочего (и тоже с первых же слов) — «человек странный, даже чудак» (9, 9); из людей «вроде как бы юродивых» (9, 29); затем просто — «юродивый» (9, 241). Повествователь допускает, что найдутся люди, которые скажут про Алешу, что он «туп, неразвит, не кончил курса» (т. е. что он и неумен и необразован), скажут, что «туп или глуп» (9, 36). И действительно, впоследствии так говорят: например, Ракитин (9, 440). Варвара Николаевна Снсгирева прямо и в присутствии Алеши говорит о нем «дурак»: «...какой-нибудь дурак придет, а вы срамите!» (9, 252).

⁴ Здесь (и в некоторых других случаях) мы берем за данное то, что само по себе требует доказательств. Но мы их опускаем, так как они заняли бы иногда большие места, чем то, что нас прямо интересует.

Алешу все поучают (отец, Митя, Иван, даже Lise, даже Коля Красоткин); Алешу все посылают по своим делам и надобностям, уверенные, что он не откажет (отец, Митя, Катерина Ивановна, Грушенька...), и он не отказывает. Он исполняет чужие поручения и просьбы и нередко первый от этого страдает. Над Алешей смеются. «Монах в гарнитуровых штанах!» (9, 225). Его презирают (Смердяков, отчасти Ракинин). Его даже бьют мальчишки (Илюша).

В этой ситуации ясно, что три брата, выдвинутые в повествовании на первый план, соответствуют обычной сказочной троице братьев: «Старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак». Это соответствие важно. Оно неизбежно предполагает и обычное для сказки переосмысление, по которому «странный» и «глупый» младший брат (иногда — сестра), думающий и делающий вопреки привычному, оказывается в результате и самым удачливым (счастливым), и самым умным, но в особом высоком смысле, не понятном для поверхностного восприятия. «Дурак» оказывается мудрецом, видимая же мудрость посрамляется. Ум и глупость меняются в этом случае своими местами. «Ты у меня все, — объясняет Алеше Митя. — Я хоть и говорю, что Иван над нами высший, но ты у меня херувим. Только твое решение решит. Может, ты-то и есть высший человек, а не Иван» (10, 109—110). Некоторая неуверенность Мити («может...») значения здесь не имеет: не Иван, а Алеша для Мити «высший», так как только решение Алеша все «решит». Разумеется, безумие Ивана в последних главах романа имеет ко всему сказанному прямое отношение.

Таким образом, «европеизм» и изоциренность отрицательно направленного ума (соединение, обязательное в славянофильских теориях и идущее именно оттуда), несмотря на видимую их высоту, должны уступить место «народным началам» и их «глупости», которая является такой, по мнению автора, лишь при подходе поверхностном и высокомерном.

Повторяющееся число «три» (в любых своих вариантах) здесь возникает вполне естественно. Оно указывает читателю на родственность художественной системы этого романа сказке и, может быть, подчеркивает некоторую сказочную условность событий и отношений (при всей их конкретности), за которыми следует искать самый общий, самый глубокий смысл. В этой связи повторяющееся число «три» соответствует многократному возвращению к словам, сказанным повествователем в начале романа: «Вот это-то обстоятельство (распря о наследстве между Федором Павловичем и Митей, — В. В.) и привело к катастрофе, изложение которой и составит предмет моего первого вступительного романа или, лучше сказать, его внешнюю сторону» (9, 18).

Но не только в сказочном рассказе повторяется число «три», утраиваются некоторые моменты действия и ситуации. И не только сказочный рассказ дает повороты, в результате которых идеализируется презираемый, гонимый, подлежащий насмешке. Ведь в «Братьях Карамазовых» речь идет не только о посрамлении ума во имя кажущейся глупости, но (и это более важно) о посрамлении связанного с этим умом неверия во имя «глупой» веры.

Заметим, что и фольклорные числа, и многие элементы фольклорной поэтики были в свое время усвоены христианской литературой и приспособлены к ее требованиям и целям. Так, в житиях будущей святой нередко кажется своим близким человеком странным, юродивым, глупым (или святой сам надевает на себя эту личину, например Михаил Клопский). Такое отношение к святому выражает среднюю, «нормальную»

точку зрения на ценность тех или иных вещей, их иерархию в обычном мире. Старший брат или братья святого бывают его умнее (см., например, житие Сергия Радонежского). Но такое понимание ума и глупости в житии опровергается ради утверждения особой мудрости, общающейся с божеством, а потому и недоступной суетному, мирскому пониманию вещей. В сущности, этот же смысл несут и жития, где святой является третьим сыном, хотя на уме первых двух не настаивается (житие Иоанна Кушника). «В пору феодального эпоса и легенды, — писал А. Н. Веселовский в „Трех главах из исторической поэтики“, — держались в памяти и подражании постоянные образы идеального подвига и подвижничества, и *chansons de geste* и жития складывались в бессознательном повторении старых идеалов».⁵

Христианство усвоило и фольклорную троичность, и другие формулы народной поэтики, заставив их «служить выражению нового содержания мысли».⁶ Среди этих старых формул петух, вестник утра, стал, например, символом Христа, зовущего из мрака к свету. Обычная метафора христианской литературы, уподобляющая «мрак» суете и злобе мира, а «свет» — проповедуемой Христом истине любви, заслуживает в данном случае внимания, потому что она последовательно проведена в романе. Как бы подчиняясь христианской традиции, Иван в своей поэме не забывает окружить светом Христа и мраком, напоминающим мрак преисподней, его могучего и умного противника, Великого инквизитора. О «мраке» и «свете» в том смысле, который имелся в виду христианской литературой, дважды упоминает повествователь, говоря об Алеше: «Просто повторю... вступил он на эту дорогу (речь идет о монастыре, — В. В.) потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода рвавшейся из мрака к свету души его» (9, 36). И раньше: «... она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся из мрака мирской злобы к свету любви души его» (9, 26). Впоследствии уже самому Алеше Христос тоже является в необычном, неземном свете («Кана Галилейская»).

Число же «три» приобрело в христианстве важнейшее значение еще и потому, что служило выражению главного — выражению божества, представляемого как трисединство бога-отца, бога-сына и бога-духа святого. В свидетельских показаниях доктора Герценштубе эта трехчленная формула варьируется не напрасно: «... и я принес ему (Мите, — В. В.) один фунт орехов... и я поднял мой палец и сказал ему: „Мальчик! Gott der Vater“, — он засмеялся и говорит: „Gott der Vater. — Gott der Sohn“. Он еще засмеялся и лепетал: „Gott der Sohn“. — „Gott der heilige Geist“. Тогда он еще засмеялся и проговорил сколько мог: „Gott der heilige Geist“. А я ушел. На третий день иду мимо, а он кричит мне сам: „Дядя, Gott der Vater, Gott der Sohn“, и только забыл Gott der heilige Geist, но я ему вспомнил, и мне опять стало очень жаль его. Но его увезли, и я болес не видал его. И вот прошло двадцать три года... и вдруг входит цветущий молодой человек, которого я никак не могу узнать, но он поднял палец и смеясь говорит: „Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der heilige Geist! Я сейчас приехал и пришел вас благодарить“» (10, 211).

В романе, где теологические вопросы поставлены в центр внимания, где посрамляется неверие, а каждый член приведенной выше формулы имеет самостоятельное значение, — все это не случайно. По-видимому,

⁵ А. Н. Веселовский. Историческая поэтика. Л., 1940, стр. 268.

⁶ Там же, стр. 362.

число «три» (заметим, что оно возникает и там, где читателю напомним о триединстве божества) должно, по замыслу автора, не только указать на близость романа фольклорным жанрам, но и на связь этого произведения с христианской литературой. Соединяя фольклорное начало с началом христианским, Достоевский идет, как видим, не путем насильственного сближения различных элементов в пределах одного художественного целого, но отталкивается от уже существующего и как бы законченного факта, ибо христианская литература действительно питалась тем, что было создано народной фантазией. Повторяющееся в романе число «три», благодаря тому значению, которое оно приобретает в данном контексте, вместе с другими фольклорными элементами сообщает всему повествованию высоту и глубину, при серьезности неизбежно идущую от архаичных форм, а христианскому циклу идей этого произведения — авторитетное одобрение народа.

Число «четыре», встречающееся в романе тоже очень часто (обычно «три — четыре», «три или четыре»), по-видимому, тоже имеет особый смысл. Выяснить значение такого повтора, однако, более трудно. Известно, что в православии это число особенно почиталось и стояло в ряду избранных чисел. Такое предпочтение опирается прежде всего на число канонических евангелий, лежащих в основе христианского вероучения. Если это обстоятельство учесть, то, может быть, не покажется странной мысль, что четыре части романа «Братья Карамазовы», возникшие из задуманных трех, не противоречили замыслу автора, с самого начала стремившегося подчеркнуть ближайшую связь этого своего произведения с духом и смыслом четырех евангельских книг, как этот дух и смысл автором понимался.

Роману предпослан эпитафия из Евангелия: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Евангелие от Иоанна, гл. XII, 24). Судьбы главных героев соотнесены с эпитафией настолько, что повествование о них в важнейших своих пунктах становится толкованием лаконичного евангельского текста. Это в первую очередь относится к Ивану и Мите. Об Алеше это тоже можно сказать, но с известными оговорками. Его смятение, вызванное неблагообразием кончины старца, и последовавшее затем возрождение и возвращение на стезю веры являются, по-видимому, лишь предупреждением более серьезных испытаний: ведь путь Алеши в первом из задуманных романов только начат. Но из известного, однако, ясно, что и Алешу не минуло бы значение евангельской притчи, вынесенной в эпитафию.

В романе упоминаются и цитируются в разных ситуациях все четыре Евангелия. Из этих упоминаний и цитат наиболее важны, конечно, те, которые, как в эпитафии, могут служить объяснением судеб героев, или отношений между ними, или некоторых обстоятельств их жизни. Возьмем, например, одну из таких цитат.

Действие в романе начинается в результате распри из-за наследства между Федором Павловичем и Митей. О том, что эта распря и привела героев к «катастрофе», читатель узнает сразу же. Соединение «всех членов... нестройного семейства» в монастыре, в келье старца, с целью разрешения этой распри служит первым событием в ходе действия. Казалось при этом, что для прекращения раздора «сан и лицо старца могли бы иметь нечто внушающее и примирительное» (9, 43). «Кончилось тем, — повествуется далее, — что старец дал согласие, и день был назначен. „Кто меня поставил делить между ними?“ — заявил он только с улыбкой Алеше» (9, 44).

Слова старца, приведенные здесь, представляют собой едва измененное повторение слов Христа. Напомним эти слова и тот контекст, который их окружает. «Некто... сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имущества. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать, некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но бог сказал ему: безумный! в сию же ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в бога богатеет» (Евангелие от Луки, глава XII, 13—21).

Итак, слова Зосимы, согласившегося выслушать враждебные стороны, вводят евангельскую параллель, благодаря которой освещается новым светом и дележ наследства между отцом и сыном, и смысл трагедии, происшедшей с Федором Павловичем. Ведь оба враждующих героя думают прежде всего о земном: Митя — о получении материнских денег, на которые, как ему кажется, он имеет все права; Федор Павлович — о приумножении собственного «капитальца». По-видимому, обычным для этого героя шутовством вызвано обращение к старцу Зосиме, причем «наследство» поставлено в иную, но характерную связь: «Учитель! — повергся он (Федор Павлович, — В. В.) вдруг на колени, — что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?.. Старец поднял на него глаза и с улыбкой произнес: „Сами давно знаете, что надо делать, ума в вас довольно: не предавайтесь пьянству и словесному невозддержанию, не предавайтесь сладострастию, а особенно обожанию денег“» (9, 58).

Забвение о наследстве «жизни вечной» и беспокойство о наследстве земном, наследстве суетном и преходящем (в свете евангельской притчи), определяет поведение Федора Павловича. «Я, милейший Алексей Федорович, — объясняет он младшему сыну, — как можно дольше на свете намерен прожить, было бы нам это известно, а потому мне каждая копейка нужна, и чем дольше буду жить, тем она будет нужнее... Теперь я пока все-таки мужчина, пятьдесят пять всего, но я хочу и еще лет двадцать на линии мужичины состоять... Так вот я теперь и подканливаю все побольше да побольше для одного себя-с, милый сын мой Алексей Федорович, было бы вам известно, потому что я в скверне моей до конца хочу прожить... А в рай твой, Алексей Федорович, я не хочу, это было бы тебе известно, да порядочному человеку оно даже в рай-то твой и неприлично, если даже там и есть он. По-моему, заснул и не проснулся, и нет ничего, поминайте меня, коли хотите, а не хотите, так и черт вас дерит. Вот моя философия» (9, 217).

На следующий день после объяснения с Алешей, накануне роковой ночи, словно заботясь о ближайшем соответствии с приведенной выше евангельской притчей и выполняя свою программу, Федор Павлович усиленно продолжает хлопотать о приумножении богатства для своих низменных целей. Упрашивая Ивана захватить по делам в Чермашно, он между прочим говорит: «Подумай: восемь и одиннадцать — три тысячи разницы. Эти я три тысячи ровно как нашел..., а деньги до зарезу нужны» (9, 349).

Но в эту же ночь Федора Павловича убивают. Тщета и «безумие» всех его усилий, направленных на достижение и упечение земного, ма-

терпального благополучия, становится здесь очевидной, а трагическая кончина героя приобретает, как видим, характер справедливого воздаяния этой душе за то, что она хотела «есть, пить и веселиться», собирая «сокровища для себя» и вовсе забыв о боге. Таким образом, важнейший момент повествования (распря по наследству, убийство Федора Павловича Карамазова), поставленный в связь с евангельской притчей, толкуется автором в полном согласии с нею.

Заметим здесь же, что Митя, который стремится отобрать у Федора Павловича наследство, не менее безумен, чем отец, который это наследство удерживает. До тех пор, пока Митя думает об этом, он с роковой неизбежностью движется к «катастрофе». Не разрешение распри и примирение, а усиление ненависти и «трагедию» готовит его дошедшее до мании упорство в желании получить от отца хотя бы три тысячи. Безумие этого желания подчеркивается в романе многократно. Московский доктор, говоря о «ненормальности» Мити, «особенно усматривал... манию в том, что подсудимый даже не может и говорить о тех трех тысячах рублей, в которых считает себя обманутым, без какого-то необычайного раздражения, тогда как обо всех других неудачах и обидах своих говорит и вспоминает довольно легко. Наконец, по справкам, он точно так же и прежде, всякий раз, когда касалось этих трех тысяч, приходил в какое-то почти иступление, а между тем свидетельствуют о нем, что он бескорыстен и нестяжателен» (10, 208—209). Призванный в качестве свидетеля, Алеша тоже «осознался, что эти три тысячи обратились в уме Мити в какую-то почти манию, что он считал их за недоданное ему, обманом отца, наследство, и что, будучи вовсе некорыстолобивым, даже не мог заговорить об этих трех тысячах без иступления и бешенства» (10, 212—213). Впоследствии к этому неоднократно возвращается прокурор: «Нет, именно так должен был поступить убийца иступленный, уже плохо рассуждающий, убийца не вор..., а как свою же вещь у вора укравшего унесший — ибо таковы именно были идеи Дмитрия Карамазова об этих трех тысячах, дошедшие в нем до мании» (10, 262). Вместе с тем вопрос о том, действительно ли Федор Павлович был должен сыну, так и остается открытым: «Все утверждали факт, и никто не мог представить хоть сколько-нибудь ясного доказательства» (10, 197).

Если учесть тот ряд идей романа, который составляет суть «катастрофы», начавшейся с распри из-за дележа наследства, то становится ясным, что эту распрю и этот дележ следует понимать в самом широком значении. Речь идет здесь о материальных, земных благах, о «хлебе», в том смысле, который это слово имеет в устах Великого инквизитора, героя Ивановой поэмы. Безумный отец, за которым стоят многие «из современных отцов» (10, 238), стремится этот «хлеб» удержать и в свою пользу приумножить. Безумный сын, за которым стоит молодая, «непосредственная» Россия, стремится его отобрать. Движимые эгоистическими побуждениями, забывшие о нравственном долге по отношению друг к другу, они неуклонно приближаются к «трагедии», тогда как отцу следует помириться и поделиться с сыном; сыну — лишь просить, но не требовать и не угрожать расправой.

Число «три» (ибо именно три тысячи, не больше, не меньше, «маниакально» утверждаются в уме Мити и доводят его до иступления и бешенства) здесь, по-видимому, есть только указание на символическое значение этих тысяч. Оно приблизительно заменяет слово «вообще» — вообще какое-то наследство. Оно является эквивалентом любого числа, и само по себе ничего не означает: настолько откровенна его условность. Важно наследство само по себе, т. е. материальная сторона дела, служа-

щая первым и главным поводом для вражды и раздора. Только это существенное добавление делает автор «Братьев Карамазовых» по сравнению с текстом приведенной евангельской притчи, а все остальное разрешает, как говорилось, в ее духе.

Числа «три» и «четыре» важны для понимания романа в целом. Число двадцать пять, о котором тоже следует сказать, имеет более узкий смысл. Двадцать пять рублей получает Ракитин за то, что приводит Алешу к Грушеньке. За этим числом стоят тридцать сребреников. В данном случае одно число заменяет другое, чтобы параллель Алеша — Христос, Ракитин — Иуда не была слишком обнаженной и не произвела бы тем самым впечатление нехудожественное. Но параллель эта существует. Она создается косвенными путями, и двадцать пять, поставленное вместо тридцати, имеет здесь то же значение, что и Ракитин, поставленное вместо Осинина. «Он (Алеша, — В. В.) пошел поскорее лесом, отделившим скит от монастыря, и, не в силах даже выносить свои мысли, до того они давили его, стал смотреть на вековые сосны по обеим сторонам лесной дорожки. Переход был не длинен, шагов в пятьсот, не более; в этот час никто бы не мог и повстречаться; но вдруг на первом изгибе дорожки он заметил Ракитина. Тот поджидал кого-то.

«— Не меня ли ждешь? — спросил, поравнявшись с ним, Алеша.

«— Именно тебя, — усмехнулся Ракитин» (9, 101).

Встреча Алешы с Ракитиным происходит вслед за тем, как старец отправляет Алешу в «мир». Происходит на изгибе безлюдной дороги, по которой «в этот час» спешит подавленный и грустный Алеша. В тот же день, возвращаясь в монастырь, на безлюдной же дороге, на перекрестке, Алеша встречает своего брата Митю. «От города до монастыря было не более версты с небольшим. Алеша спешно пошел по пустынной в этот час дороге. Почти уже стала ночь, в тридцати шагах трудно уже было различать предметы. На половине дороги приходился перекресток. На перекрестке, под уединенною ракитой, завиделась какая-то фигура. Только что Алеша вступил на перекресток, как фигура сорвалась с места, бросилась на него и неистовым голосом прокричала:

«— Кошелек или жизнь!» (9, 195).

Из ненавязчивых деталей, соединяющих выход Алешы в «мир» и возвращение его из «мира» в первый день, заметим связь между Ракитиным и той «уединенной ракитой», под которой ожидает брата Митя. Эта ракита здесь же упоминается еще дважды, сопрягаясь с мотивом повешения. Митя говорит Алеше: «Стой. Посмотри на ночь: видишь, какая мрачная ночь, облака-то, ветер какой поднялся! Спрятался я здесь под ракитой, тебя жду, и вдруг подумал (вот тебе бог!): да чего же больше маяться, чего ждать? Вот ракита, платок есть, рубашка есть, веревку сейчас можно свить, помочи в придачу и — не бременить уж более землю, не бесчестить низким своим присутствием!» (9, 195).

Соединение «ракиты» с мотивом повешения, а того и другого вместе — с именем Ракитина («Ракитка», как его называет Грушенька) подсказывает читателю ассоциации, законность которых вполне утверждается в дальнейшем повествовании. Эти ассоциации были бы более прямыми и следовательно, более явными, если бы Ракитин был назван Осининым, ибо по народному поверью именно на осине повесился Иуда, отчего ее листья с тех пор и трепещут. Мотив повешения в связи с осиною мог бы в этой ситуации быть опущен: не названный, он разумелся бы здесь сам собой. Но автор идет более сложными путями, хотя результат его усилий один — сопоставить «семинариста-карьериста» Ракитина с Иудой, Алешу с Христом.

«Слушай, Алеша, — говорит Грушенька, — я тебя столь желала к себе залучить и столь приставала к Ракитке, что ему двадцать пять рублей пообещала, если тебя ко мне приведет. Стой, Ракитка, жди! — Она быстрыми шагами подошла к столу, отворила ящик, вынула портмоне, а из него двадцатипятирублевую кредитку. . .

«— Принимай, Ракитка, долг, небось не откажешься, сам просил. — И швырнула ему кредитку.

«— Еще отказаться, — пробасил Ракитин, видимо сконфузившись, но молодцевато прикрывая стыд, — это нам всльми на руку будет, дураки и существуют в профит умному человеку» (9, 440). Уже уходя от Грушеньки, Ракитин «злобно» смеется над Алешей: «Что ж, обратил грешницу? . . . Блудницу на путь истины обратил? Семь бесов изгнал, а? . . .

«— Перестань, Ракитин, — со страданием в душе отозвался Алеша.

«— Это ты теперь за двадцать пять рублей меня давешних „презираешь“? Продад, дескать, истинного друга. Да ведь ты не Христос, а я не Иуда» (9, 447). Поскольку Ракитин действительно, как видит читатель, «продал» Алешу, отрицание в высказывании «ты не Христос, а я не Иуда» значения не имеет, и это высказывание только закрепляет сопоставление, которое исподволь уже готовилось в предыдущем. Ведь за двадцать пять рублей или за тридцать «продает» Ракитин «истинного друга», в конце концов не важно, а важен самый факт «продажи».

Однако впоследствии, уже на суде, тридцать рублей все же возникают. Характерно, что они появляются в связи с двадцатью пятью рублями, в свое время отданными Грушенькой. Адвокат «спросил про Ракитина и про двадцать пять рублей „за то, что привел к вам Алексея Федоровича Карамазова“.

«— А что ж удивительного, что он деньги взял, — с презрительной злобой усмехнулась Грушенька, — он и все ко мне приходил деньги капочить, рублей по тридцати, бывало, в месяц выберет. . .» (10, 222). Тридцать рублей, получаемых Ракитиным от той же Грушеньки, являются последним звеном в обличающем героя сопоставлении с Иудой. Эти обычные для Ракитина тридцать должны, по-видимому, заменить те случайные двадцать пять, которые были получены им однажды. Важно, что когда Грушенька об этих тридцати рублях сообщает, предательская сущность «семинариста-карьериста» уже указана читателю вполне определенно.

Что же касается числа двенадцать (тоже излюбленного в фольклоре), то значение его прозрачно. В третьей и последней главе эпилога «Похороны Илюшечки. Речь у камня» читаем: «Алеша еще у ворот дома был встречен криками мальчиков, товарищей Илюшиных. Они все с нетерпением ждали его и обрадовались, что он, наконец, пришел. Всех их собралось человек двенадцать» (10, 327). «Человек двенадцать» мальчиков, слушающих поучения Алеши в эпилоге, явно связаны ассоциациями с двенадцатью апостолами, учениками Христа. Особым значением наполняется в данном случае и слово «голубчики», употребляемое Алешей по отношению к собравшимся мальчикам: «Голубчики мои, — дайте я вас так назову — голубчиками, потому что вы все очень похожи на них, на этих хорошеньких сизых птичек, теперь, в эту минуту, как я смотрю на ваши добрые, милые лица» (10, 335). Известно, что голубь в христианской традиции — символ духа святого («Gott der heilige Geist»), а в то же время он символически заменял апостола. Слово «голубчики», звучащее в связи с двенадцатью мальчиками, должно быть, учитывает и то символическое толкование, и другое.

Но число «двенадцать» имеет, по-видимому, и другой смысл. Заметим два обстоятельства: 1) роман разделен на двенадцать книг (само деление на книги тоже, разумеется, показательное); 2) характерные мотивы, которые этот роман заключают. Алеша кончает речь у камня следующими словами: «... вечная ему (Илюше, — В. В.)... память в наших сердцах, отныне и во веки веков!

«— Так, так, вечная, вечная, — прокричали все мальчики своими звонкими голосами, с умиленными лицами...

«— ... вечная память мертвому мальчику! — с чувством прибавил опять Алеша.

«— Вечная память! — подхватили снова мальчики.

«— Карамазов! — крикнул Коля, — неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых и оживем и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?

«— Непременно встанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было, — полусмеясь, полу в восторге ответил Алеша.

«— Ах, как это будет хорошо! — вырвалось у Коли<...>

«— Ну пойдемте же! Вот мы теперь и идем рука в руку.

«— И вечно так, всю жизнь рука в руку! Ура Карамазову! — еще раз восторженно прокричал Коля, и еще раз все мальчики подхватили его восклицание» (10, 337—338). Этим кончается весь роман.

Мотивы «вечности», «вечной» жизни, многократно здесь повторяющиеся, вместе с «непременно встанем, непременно увидим» и т. д., мотивы, заключающие весь роман, совпадают с последними (из двенадцати) догматами христианского символа веры: «Чаю воскресения мертвых. И жизни будущего века». Нет надобности говорить, какое значение имеет в этом романе Достоевского мысль о бессмертии и вечной жизни, утверждаемая в конце произведения. Достаточно напомнить, что с противоположной мысли, мысли, что нет бессмертия души, начинается свою бунтующую проповедь Иван. Вряд ли случайно, что Достоевский разделил свой роман на двенадцать книг и кончил его двенадцатым и последним догматом Символа веры.
